

# МЫ БЫЛИ

ГОРОД ЛОМБАРДЪ

# В

ЭДУАРД  
ГОВОРУШКО



# ЭТОЙ ЖИЗ НИ

МЫ БЫЛИ  
В ЭТОЙ ЖИЗНИ



Эдуард Говорушко  
**Мы были в этой жизни**

«У Никитских ворот»

2019

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Говорушко Э. Л.**

Мы были в этой жизни / Э. Л. Говорушко — «У Никитских  
ворот», 2019

ISBN 978-5-00095-671-7

Перед вами второе издание книги Эдуарда Говорушко «Встречи, которых уже не будет», вышедшей в 2012 году. Исправленное и дополненное новыми фактами, сведениями, воспоминаниями. На первый взгляд может показаться, что это исключительно личная книга, предназначенная для читателя, так или иначе знакомого с ее героями. Но это совсем не так. Эдуард Говорушко – соавтор (вместе с московской писательницей Эллой Матониной) исторических бестселлеров о К.Р. (серия «ЖЗЛ»), Лике Мизиновой, Марии Тенишевой и других знаменитых людях – мастерски превращает частную историю в общую, понятную и близкую всем неравнодушным читателям. «Мы были в этой жизни» – очень точное название для книги, в которой герои живут и умирают, любят и страдают, учатся, работают, пишут стихи, шутят по-настоящему. Для широкого круга читателей.

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00095-671-7

© Говорушко Э. Л., 2019  
© У Никитских ворот, 2019

## Содержание

От издателя	6
Поросшее быльём	7
От автора	7
При немцах	8
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Эдуард Лукич Говорушко**  
**Мы были в этой жизни**  
*Рассказы-воспоминания*

© Говорушко Э.Л., 2012, 2019

© Оформление ИПО «У Никитских ворот», 2012, 2019

\* \* \*

## От издателя

Как часто судьба дарит нам встречи с замечательными людьми, и можем ли мы эту встречу вовремя распознать, не пропустить, не опоздать на нее, а превратить в долгий, интересный и радостный диалог длиной в жизнь? Автору этой книги повезло: таких драгоценных встреч у него было немало, и ему всегда хватало чуткости и мужества оценить самый, наверное, дорогой, подарок, который преподносит нам жизнь, – другого человека.

Люди, о которых пойдет речь в этой книге, не похожи на героев романов, они почти ничем не прославились и почти никому не известны, но жизнь их была богатой событиями и чувствами. Ученый, поэт, сельский учитель, журналист, а часто человек, совмещающий несколько профессий, – у каждого героя своя неповторимая история, преломленная через судьбу сложной, противоречивой, трагической, но великой эпохи. Жизнь в XX веке набирала небывалый разгон, и надо было становиться великанами, чтобы в гигантских прыжках едва успевать за ней. В таких условиях рождались совершенно уникальные характеры: смелые, открытые, честные, принципиальные, жадные к знаниям и труду и щедрые в чувствах, талантливые в науке и любви, готовые поступиться свободой, но не идеалами.

Но главное, что объединяет этих людей, – умение дружить и любить, способность к самопожертвованию, какая-то особая человечность и стойкость. И эти рассказы-воспоминания не только дань уважения и любви автора дорогим и близким, но и напоминание нам, живущим сейчас, каким может и должен быть человек...

*Мария Должкова*

## Вместо введения

Мать когда-то уверяла: чем чаще мы вспоминаем навсегда ушедших дорогих нам людей, тем отраднее им ТАМ. Хочется верить... Но уж точно – мне самому от таких воспоминаний становится светлее и радостнее на душе. И не случайно: арабский писатель и мыслитель Джубран Халил Джубран заметил, что воспоминание – род встречи. Значит, встречи и с теми, с кем на земле ее уже не будет.

В этой книге публикуются рассказы о вряд ли знакомых читателю замечательных людях, оказавших неоценимое влияние на автора и его жизнь. Надеюсь, что знакомство с ними станет для Вас дополнительным поводом с благодарностью воскресить в памяти своих, уже покойных близких и друзей. Чтобы было отраднее: им – ТАМ, а нам – здесь...

Автор, поверьте, не собирался писать мемуары – не по Сеньке, как говорится, шапка, то бишь жанр. Перечитывая, однако, вёрстку, убедился: о каких встречах я бы ни писал, мои «уши» торчат отовсюду. Что, в общем-то, естественно: время в этой книге, как песок, сыплется сквозь мои пальцы.

**Поросшее былём**  
**Говорушко Лука Романович**  
**(25.12.1905–17.11.1984)**  
**Говорушко (Шинкевич) Анастасия Сергеевна**  
**(17.11.1907–17.02.1989)**

**От автора**

Эта, в общем-то, горькая повесть о моих родителях и родне написана по просьбе дочери Юли для моих американских внуков – Андрюши и Анечки. Чтобы знали о своих корнях.

Оккупантов моих родных мест в 1941 году неполиткорректно называю немцами, а не гитлеровцами или фашистами. Так их называли и до сих пор называют в Белоруссии.

## При немцах

Трудно представить, но маму свою помню с двух лет и двух месяцев, с тех пор как, в нашу деревню Остров в Белоруссии пришла война. Жарко, с треском горящие плетни, отделяющие огороды от поймы речки Добысна, которую форсировали немцы, пулемётный огонь и разрывы снарядов. Вслед за старшими ребятами раз за разом безуспешно пытаюсь вскарабкаться и перелезть плетень в месте, куда пламя ещё не добежало. Обречённо повисаю и бессильно сползаю вниз, задыхаясь от слёз и дыма... И вдруг чьи-то руки подхватывают меня с другой, спасительной стороны. Отблески огня падают на родное лицо, до неузнаваемости искажённое смертельным ужасом и страхом. Испуганный её страхом, перестаю плакать... Безмолвно прижав меня к груди, мама огородом бросается к деревне...

Сквозь проблески сознания вижу её, склонившуюся надо мной в землянке, загодя выкопанной в саду... Именно в тот день, как вспоминает мама, я слёг и пролежал всю войну.

Случилось это, как я недавно узнал из документов, выложенных в интернете, 7 июля 1941 года. В тот день бои, перекатившись через речку и хаты вдоль неё, погромели дальше, на восток, под Гомель...

Завоевателей поначалу не прельстили наши крытые соломой и гонтом хаты, их штаб разместился в Красном Береге, в бывшем панском поместье неподалеку от железнодорожной станции. Только в середине 1943-го и у нас расселилась воинская часть. В декабре мама зазвала ко мне немецкого доктора. Я лежал почти поперёк лавки: шупленький, весь покрытый гноиниками и струпьями. Немец поставил диагноз – сыпной тиф, – а потом с сожалением произнёс по-русски: плохо, matka, совсем плохо, не выживет... Уже уходя, добавил: если съест вдруг чего захочет – из-под земли достань! Возле землянки и в этой части улицы выставили плакаты «Тиф», написанные чёрными готическими буквами; немцы обходили опасные места стороной. Нет худа без добра: здесь спрятали и таким образом спасли от отправки на выкачивание крови для немецких солдат моего девятилетнего двоюродного брата Мишу Чернецова... Обстоятельные немцы тщательно продумали оккупационную инфраструктуру, с тем чтобы извлечь максимальную пользу для рейха.

Пересыльный лагерь для невольных доноров расположили рядом, в том же Красном Береге. Недавно на этом месте был сооружён мемориал, при посещении которого невозможно сдержать слёз.

Я за эту войну чем только не болел... Сперва тяжёлое воспаление лёгких, отрыгнувшееся начальной стадией туберкулёза, потом скарлатина и сыпной тиф в его самой тяжёлой форме, а под занавес – ещё и малярия. Уже в семнадцать лет мама со слезами на глазах призналась мне, что дальняя родственница Тэкля, единственная портниха в деревне, сшила для меня похоронную рубашку. Никто не верил, что смерть меня отпустит. Но, видимо, все опасные недуги, столкнувшись в маленьком тельце, разодрались между собой и погибли в этой самоубийственной схватке – я выжил... Рассказывают, мне захотелось сала, и мама зимой 1944 года, когда немцы всё и у всех съели, где-то раздобыла кусочек. С тех пор она утвердилась во мнении, что сало меня и спасло. Я ей верил, пока не осознал: раз аппетит появился – смерть отступилась ещё до сала.

Уже отчётливо помню маму в сорок четвёртом. Мы с братом скукожились на дне небольшого окопчика, наспех вырытого в созревающей ржи, а мама стоит над нами на четвереньках, прикрывая своим телом. Вокруг свистят пули, рвутся снаряды. Сколько она так простояла – не знаю, да и она сама не помнила: может, полдня, а может, и больше.

\* \* \*

Мама моя была не по-деревенски красивой – просто барышней и умницей, хотя окончила лишь четыре класса церковно-приходской школы. В колхозе, который образовался в конце 1929 года, числилась ударницей. В награду вызвали в райцентр, привезли на небольшой аэродром и прокатили над деревней на аэроплане: за полётом, задрав головы к небу, следила вся деревня. Случилось это в 1931 году. И до того у неё отбоя от женихов не было, но когда «спустилась снеба на землю», ухажёры как с цепи сорвались. А она ни к одному не приткнулась, никто ей не нравился. Говорила: мне, дескать, и незамужней хорошо. Любимый брат Алексей баловал Настю, младшую из трёх сестёр, и на свою учительскую зарплату чего только ей не дарил: и блузки шёлковые, и юбку до пола бархатную купил, а уж туфли – хоть каждый день меняй. Одевал как королевишну. И возил, куда хотела – не хотела: и в Жлобин, и в Бобруйск, и даже Гомель показал. Мать, моя бабушка Марья Ильинишна, журила: шла бы уже хоть за кого-то, а то, гляди, в девках останешься.

Но вот осенью появился в деревне Лукаш, мой будущий отец, отправившийся куда-то под Москву то ли на заработки, то ли на учёбу. Был он из богатой семьи – дом в пять окон, но в двадцать девятом, по воспоминаниям пожилых односельчан, моего деда Романа «раскулачили» и отправили куда-то в Сибирь. Так и не вернулся – то ли пропал, то ли женился где-то.

Но сыновей дед успел выучить. Только старший, Максим, крестьянствовал в своей деревне, Алексей выучился на учителя, Лукаш поехал куда-то на заработки – в своём районе сыну зажиточного селянина ходу не было. Младший, Николай, работал на маслобойне в Поболово, заочно учился и тоже собирался стать учителем младших классов.

Другие уезжали и – как в воду канули, а Лукаш вернулся. Солидный, в костюме, при галстукке. Пришёл, через Варку, старшую уже замужнюю сестру, вызвал из дому в палисадник, усадил на призбу, закрыл калитку на щеколду. Сам сел рядом. И сердце ёкнуло:

– Чаго калитку запираешь? – спросила, чтобы прийти в себя. – Боишься, штоб не сбегла?

Хотя ни любви, ни даже взглядов-переглядов у неё с ним до отъезда из деревни не было, но тут она почему-то испугалась, почувствовав – доли девичьей конец настал. Так оно и вышло: обнял, тесно прижал к себе и поцеловал в неподдающиеся губы. И пахло от него по-городскому, чем-то неизведанным, притягательным. «И где такой диколон нашёл, что от него голова кружится...» – подумалось ей...

– Замуж за меня пойдёшь, чтоб там тебе ни пели! – выдохнул после поцелуя. А потом отстранился и добавил: – Ты тут побудь, а я к Ильинишне, скажу про нас!

Батька мамин помер от тифа в Рогачёве в 1918 году, там во время гражданской неспокойно было, и никто не знает, где его закопали.

– А што к ей идти, – она меня за каго хочешь отдаст, ты вот к Лёше, к брату сходи, ему скажи! Как он решит...

– А с Лёшей я уже всё обговорил. Всю нашу судьбу... В пятницу в сельсовет пойдём.

– А ты насовсем приехал или як?

– Или як, – улыбнулся он её деревенскому наречию. – Распишемся, поживу с месяц и уеду. На рабфак поступлю во Владимире, а потом в учительский институт. Закончу, попрошусь в школу в Поболово, тогда и заживём как полагается.

– А я что тут? Ни девка, ни жёнка... Ты про меня подумал?

– То-то, что подумал! Будешь жить, как и жила. За тобой Лёша присмотрит, да ты и сама гляди... Так ты как?

– А что я? Ты же усё решил! – почему-то сразу согласилась она.

Интересно, если б знала, что тем самым она, независимая и даже строптивая в девках, раз и навсегда определяет себя только как мужняя жена – было бы сватовство отца столь стремительно-успешным?

Уже на следующий день пошёл по деревне слух про свадьбу, и потянулись в дом с последней отчаянной надеждой поклонники. Один даже страшал застрелить её и себя. Она, скрывая испуг, решительно отказала:

– Что ж, стреляй!

Молодой муж ввёл жену в родительский дом и опять укатил на долгих пять лет. А спустя месяц тяжёлый инсульт свалил свекровку, Ульяну Романиху. Была она уважаемой знахаркой и шептухой – вся деревня к ней лечиться ходила, – а себя вот не доглядела.

Почти пять лет мама так терпеливо и самоотверженно ухаживала за парализованной, что ту «хоронили без пролежней», с нескрываемым уважением рассказывала несколько десятилетий спустя моя тётя Лекса (Александра), мамина двоюродная сестра, лучшая подруга и моя крёстная:

– Да ещё и трудодни в колхозе зарабатывала!

Мама никогда не жалела о том, что вышла за отца, хотя, как иногда признавалась, «жизнь с ним бывала не сахар». А однажды не без удовлетворения в голосе за правильно принятое когда-то решение рассказала, что всех её шестерых поклонников перестреляли на войне, а отец – вон он, «тут, с нами, хотя и лагерь военнопленных прошёл, из-под расстрела спасся и комиссаром партизанил. Как чувствовала, что так и будет, когда его выбрала».

\* \* \*

Отца помню с того самого дня, когда он появился с войны: вошёл в комнату при школе, где мы жили до лихолетья и куда с трёхлетним братом и мамой переехали в середине июня 1944 года, как только из нашего бывшего еврейского местечка выбили немцев. Стремительно влетел – в защитной гимнастёрке без погон и тёмно-синих шевиотовых брюках-галифе, в хромовых сапогах, с вещмешком на правом плече – большой, лысый, широко улыбающийся человек с покрасневшим от солнца лицом. Сбросив к ногам свою ношу, шагнул к маме:

– Ну, всё, Настя, отвоевался, принимай живого!

Мать бросилась к нему от тазика на лавке, в котором мыла посуду, обняла мокрыми руками и повисла на плечах, хотела поцеловать в губы. Отец сразу отстранился, а потом припал к себе и стал гладить по плечам, потом по спине. На эмоции всегда был скуп, я не помню, чтобы они целовались, не помню, чтобы он целовал кого-то из нас, детей.

Мы с братом сидели на постели, прижавшись друг к другу, как воробьи, и не знали, что делать – отвыкли за войну. Мама, смущённая его неласковостью, отошла от него и сказала с доброй издёвкой:

– Детей обними, старший, сам знаешь, еле выжил! Папаша... Ироническое её «папаша» стало сигналом для брата, который вдруг соскочил с постели и с криком «папа, папа приехал» бросился к нему.

Отец подхватил Генку на руки и строго спросил у меня:

– А ты что же отца не встречаешь?

Я был настолько тощим, что «сквозь меня всё просвечивало», говорила мама, и очень слабым. Осторожненько сполз с места и подошёл к отцу. Он нагнулся и посадил меня на правую руку, мы сидели напротив друг друга, как два птенца, а потом вдруг словно по команде прижались к его щеке. Нисколечки не кололось...

Позже, когда мы уже выросли, а он стал стариком, всегда, сколько я его помню, был чисто выбрит – вставал раньше шести и первым делом разводил мыло в чашечке и брил опасной бритвой не только подбородок и щеки, но, с неожиданным умением, и голову: с шевелю-

рой отец расстался в тридцать лет и, в зависимости от обстоятельств и собеседников, шутил: «Умные волосы оставили дурную голову» или «растительности нет на той горе, в которой богатые руды скрыты».

Он прижал нас сначала друг к другу, а потом ещё раз к себе и спустил на пол со словами:  
– А что я вам сейчас дам!

Расстегнул вещмешок и достал трофейную губную гармошку, поднёс к губам и сыграл что-то вроде «чижика-пыжика». Мы с завистью не сводили с гармошки восхищённых глаз. Отец тут же передал её мне:

– Тебе как старшему!

Генка заревел, отец этого, похоже, и ждал, потому что, рассмеявшись, достал из своего чудо-мешка точно такую же:

– Вот теперь у вас дуэт получится!

Я поднёс было гармошку к губам, но тут же вспомнил про покалеченный палец.

Когда немцы заняли деревню, в нашем доме поселился какой-то чин с ординарцем, а нас выгнали в сад, где дядя Яков вырыл землянку. Маму немцы подрядили мыть-убирать за ними в хате, за что платили консервами. Иногда мама брала и нас с собой. Пока была занята, мы играли в передней. Однажды я сунул палец между дверью и косяком, офицер не видел и, уходя, закрыл её. От невероятной боли я дико закричал. Мать бросилась ко мне с криком «пан, пан, что вы наделали!» Офицер обернулся и увидел мой расплющенный указательный палец на левой руке, который весь сочился кровью. Что тут было! Немец что-то виновато затарахтел по-своему, а потом выбежал и вернулся с фельдшером. Палец обработали, забинтовали, а немец потом откуда-то притащил нам две упаковки леденцов-кругляшек в серебристой фольге.

Я продемонстрировал отцу недавно заживший палец с уродливым ногтем и гордо объявил, что пострадал от немцев.

– Ах так, – сказал отец, – тогда тебе положена награда!

Он опять порывлся в своём волшебном мешке, достал медаль и повесил мне на грудь. Генка опять вдарился в крик, но отец строго сказал:

– Тут, брат, слезами не возьмёшь – это медаль за ранение! А теперь – на улицу, и чтобы я вас долго не видел! Мне с мамой кое-что обсудить надо!

Нас и самих тянуло на улицу похвастаться гармошками, а мне не терпелось ещё и медаль предъявить соседу-переростку Мишке, который иначе как хлипаком меня и не называл.

Последнее, что я услышал – вопрос матери, то ли с тревогой, то ли с надеждой обращённый к отцу:

– Это как же, отвоевался? Война ж не кончилась, Гитлер же – не капут?

Я специально задержался за дверью, чтобы услышать ответ отца:

– Будет капут без меня. Меня на восстановление школы направили!

Медаль ту я, конечно, потерял или выменял за неё у того же Мишки складной ножик, не помню точно, о чём сейчас очень жалею. Потому что в конце концов потерялись и другие отцовские награды, которые он почему-то носить не любил. По торжественным случаям вместо них прицеплял колодочки или планки и уверял нас, что это, мол, одно и то же.

\* \* \*

В девках мама, как и две её старших сестры, была довольно религиозной. Во всяком случае, как и они, посещала церковь, постилась, крестилась на икону, висевшую в красном углу. Расписавшись, отец, вернувшийся из своего подмосковного совхоза коммунистом и атеистом, запретил ходить в церковь и молиться прилюдно. Не позорь, дескать, меня, молись втихую, в душе, если уж такая верующая. Послушалась мужа, а не Бога, и с тех пор в церкви не появлялась. Но нас с братом втайне от отца покрестила: сама, дескать, греха не боюсь, а детей пусть

Бог хранит. Когда, спустя два года после золотой свадьбы, отец скончался, ответила отказом на предложение батюшки и уговоры сестёр провести отпевание в церкви. Себя же, пока была в памяти, попросила похоронить по православному обряду.

Сколько помню, мама никогда не спорила с отцом. Его мнение было и её мнением, его вкус – её вкусом (исподнее белье покупал по своему выбору), его решение – её решением. Инициативу проявляла чрезвычайно редко. Слово мужа было для неё законом, даже в мелочах. Строго следила за тем, чтобы никто из нас не садился за стол, пока своё место не занимал отец, никто не брал ложку, пока он не начинал есть.

Бывало, конечно, что сама думала иначе, но поступала так, как считал нужным он, причём без видимого неудовольствия и обиды. Когда осталась в деревенском доме вдвоём с дочерью – инвалидом от рождения, призналась: только раз пожалела, что не воспротивилась мужниной воле.

...Родители очень хотели девочку, но война помешала. В сорок пятом появился на свет мой второй брат – Георгий, Жорж, Жорик, как называли его дома. В четвёртый раз мама забеременела уже после сорока. Рожать не хотела, но отец, на беду, отговорил от аборта. Долгожданная девочка родилась с раскосыми глазами, росла и развивалась вяло. Несколько месяцев консультаций со светилами в Минске и Москве привели к неутешительному выводу: синдром Дауна. Неизлечим, вероятнее всего девочка навсегда останется беспомощной, может даже ходить не научиться. Специалисты советовали отдать несчастного ребёнка в дом инвалидов. Мама тоже склонялась к такому решению, понимая, какое бремя ложится на них с отцом, а потом – на старших детей. Отец – ни в какую, жалел и любил мою несчастную сестру до умопомрачения: после моей смерти, мол, отдавай куда угодно. Мама смирилась. Смирилась и с тем, что потом, когда девочка всё же встала на ноги и подросла, отец решил учить её грамоте и отправил в школу вместо того, чтобы дома приучать к уходу за собой, прививать элементарные трудовые навыки.

Не думаю, что отец подавлял мать авторитетом образованного и всеми уважаемого человека: в супружестве пиетет со стороны посторонних роли не играет – лицом к лицу, как говорится в Библии... С её стороны было, скорее, сознательная или неосознанная передача полномочий; роль покладистой мужниной жены поначалу, скорее, играла, пока постепенно не свыклась, не срослась с ней.

Почему? Вопрос непростой. Может, именно такой уклад был унаследован ею, а вероятнее всего, как я понимаю на склоне своих лет, «наступала на горло собственной песне» в воспитательных целях – мы могли как угодно беситься, но когда с работы возвращался отец, должны были как по команде утишиться. «Безотцовщина» – помню, отозвалась о моём приятеле из многодетной семьи, где всем заправляла жена-бригадирша, напроць подмявшая под себя мужа – колхозного скотника. Мать и со всеми своими невестками примирилась далеко не сразу. Одна по поводу и без повода перечит мужу, другая, хотя и ласково, назвала её сына «дурачком», третья не дала своему доучиться в университете на очном... (Здесь мама была, что называется, «не в курсе»: мой брат Геннадий после третьего курса сам решил перейти на заочное отделение экономического факультета МГУ, после чего успешно защитил диплом. Э.Г.)

\* \* \*

Вдвоём с братом сидим в ручной тележке-коляске, которую катит отец. Галифе и гимнастёрку сменил на обычные холщовые штаны и рубашку в полоску. Мать шагает рядом. Улицы в местечке пустынные, пусты и дома, окна в некоторых заколочены. Уже будучи школьником, узнал почему. Только трое еврейских семей, вняв предостережению скорняка Румана Щукина, в начале войны ушли на восток, погрузив пожитки и детей на телеги. Большинство же остались, уповая на то, что немцы – цивилизованные люди. Цивилизованные люди угнали всех евреев

в Рогачёвское гетто, где многие погибли, а выжившие в местечко больше не вернулись: бывших поболовцев я встречал в Москве, в Вильнюсе. В Риге мне однажды позвонила пожилая женщина с очень сильным еврейским акцентом:

– Скажите, вы не из Поболово? Не Луки Романовича сын?

Получив утвердительный ответ, радостно заворковала:

– Ой, Эдичек, да я же вас на руках тутушкала! Я в поболовской школе учительницей работала! А папа ваш с войны вернулся? Я его часто вспоминаю с благодарностью.

Я рассказал об отце, она попросила передать ему привет, назвав свою фамилию. А ещё сообщила, что переехала в Ригу из Минска: из Латвии проще эмигрировать в Израиль.

Отцу я привет передал, чем очень обрадовал.

– Тамара Ароновна Китаина, – предположил он. – Значит, осталась жива, выходит, повезло ей!

Сейчас жалею, что тогда не встретился тогда с этой женщиной, – такой шанс узнать о довоенной жизни родителей упустил. Но если бы наперёд знать, где упадёшь, соломки бы подстелил, говаривала мама.

После Победы в своих домах поселились Руман Щукин с женой Добой, тремя сыновьями и больной дочерью Эстрой да Новики. Обе семьи оставили родные места при первом же известии о войне. Где они пережили лихолетье, кто помог спастись – не знаю.

Долго я удивлялся спасительной интуиции Румана Щукина, не поверившего в цивилизованность новоявленных арийцев. А недавно узнал от местного старожилы: не интуиция это, а опыт. Оказывается, ещё в Первую мировую немцы взяли несколько евреев, прекрасно знающих идиш, в том числе и Румана, в качестве переводчиков. А потом заставили ходить за лошадьми, запряжёнными в бороны, по минным полям где-то в Западной Белоруссии, чтобы обезопасить свои части при наступлении. Около десяти «переводчиков» подорвались на минах, Руману удалось выжить. В Отечественную, как выяснилось, Руман Щукин шил полушубки красноармейцам в какой-то тыловой части и побывал с нею в Берлине.

Ещё позже вернулся с фронта в опустевшую родительскую хатёнку старший лейтенант Янкель Турок. Красавицу-невесту Фаню привёз откуда-то издалека, они выстроили новый дом, родили троих дочерей и сына. Всех выдал замуж Янкель, а после – умер. Дочери с семьями уехали в Израиль, куда-то переехали Щукины, похоронив на старом еврейском кладбище сына Абрама, а потом подались из местечка и Новики.

Кначалу семидесятых евреев в Поболово, живших здесь с XVI века, не стало, хотя по традиции селение ещё и называлось «Местечко». Теперь – агрогородок «Поболово» Рогачёвского района.

...Мы едем в деревню Остров выкапывать патефон. Что это за штука – знаем: патефон был у нашего постояльца, немецкого офицера, он слушал то марши, то какие-то заунывные песни – арии из опер, как я потом понял. С братом издали восторженно наблюдаем, как он крутит ручку, потом ставит пластинку, лёгкий щелчок – и иголка зашуршала по виниловому диску, вот-вот грянет музыка...

– Ничего, вот кончится война, придёт отец, откопаем свой, наслушаетесь вволю, – обнадеживала нас мама, отжимая над ведром тряпку, которой мыла пол.

И вот мы едем за своим патефоном. Деревня протянулась на противоположной стороне долины реки Добысна, которая в весенний разлив превращалась прямо-таки в широкую Волгу, подтапливала огороды с обеих сторон и затапливала мост, почти на неделю изолировав местечко и деревню друг от друга. Во время боёв старый и прочный мост взорвали, при наступлении наши сапёры возвели временный, из брёвен, по которым положили две колеи дощатого настила. По одной из них катятся наши колески, мы с братом, перегнувшись через борт, наблюдаем, как далеко внизу – метра три, не меньше – булькает на перекатах вода. От

мелькания солнечных бликов на её поверхности кажется, что мост качается и может рухнуть, а вместе с ним и мы. Жмурим глаза от страха и открываем их уже на другом берегу. Какое-то время едем по подолу, узкой стёжкой в высоком разнотравье, обрывающемся далеко, у самой воды, а потом поднимаемся в гору и по меже приближаемся к родному пепелищу. В деревне сгорело несколько домов, в том числе и бабушкин, где мы переживали войну, тот самый, в палисаднике которого отец брал маму замуж.

До войны патефонов в еврейском местечке хватало, а вот ламповый приёмник был только у нас. Отец, как и обещал маме, закончив физмат Гомельского пединститута, сразу получил должность директора школы. В субботу, 21 июня, отмечали регистрацию в сельсовете моего младшего брата, родившегося три месяца назад, веселье затянулось, и многие остались ночевать. В воскресенье большой компанией сели за поздний завтрак. Окна раскрыты, патефон играет «Рио-Риту», все расслаблены и договариваются пойти купаться. И вдруг в эту выходную безмятежность врывается мой двенадцатилетний двоюродный брат Лёня, от которого я и знаю эту историю:

– Война! Немцы уже в Белоруссии! По радио выступает Молотов.

Все тут же столпились в спальне, где оставшийся без присмотра Лёня только что крутил ручки радиоприёмника. Прослушав речь в оторопелом молчании, все стали расходиться. Отец, отправив мать по соседям с этой ужасной новостью, вскрыл мобилизационный конверт. Когда мать вернулась, он уже упаковывал самое необходимое в небольшой фанерный чемодан.

– Надо срочно явиться в Гомельский военный госпиталь!

– Прямо сейчас? Люди ценные вещи и утварь собираются закапывать, думают, где спрятаться, а тебе больше всех надо! – возмутилась мать. – Завтра поедешь в Гомель, раз решил меня с детьми оставить в лихолетье.

– Несёшь сама не знаешь что! Чего закапывать собираешься?

– Патефон, приёмник, посуду, меховую жакетку, что ты мне весной купил, два твоих костюма и по мелочам что-то...

– Иди запрягай коня, отвезёшь меня в Красный Берег на станцию, потом всё грузи на телегу и езжай с детьми на деревню. Там в саду и закопаешь, только место запомни. Может, под малиновкой? Там повыше и песок...

Отцу не пришлось ехать в Красный Берег. Через несколько минут в дом пришёл посыльный из сельсовета: позвонили из райвоенкомата и приказали всем призывникам быть завтра в шесть утра у сельсовета – за ними придёт машина. Впереди у отца было полдня, вечер и ночь, в которую мать уговаривала его спрятаться, не идти на фронт.

Патефон в саду они закапывали вдвоём. А наутро, рассказала мне двоюродная сестра Аня, которой в июне сорок первого было одиннадцать лет, мама с двумя детьми пришла проводить отца к сельсовету в последней надежде, что из-за малышей на войну его не заберут. Голосила, как по покойнику. Тот прогнал её домой: не позорь перед людьми, дескать.

В военном билете отца отмечено: служил в Красной Армии с 23 июня по 15 декабря 1941 года.

\* \* \*

Проводив отца на войну, мама затаилась в ожидании: ни с кем не делилась ни печалью, ни тревогой, ни страхом за его жизнь. Будто не на фронт ушёл, а снова уехал в свой подмосковный совхоз. Но, в отличие от многих товарок по несчастью, деревенских солдаток, всегда знала: вернётся живым. Сразу с войны, а потом, проводив в лес, и с партизан. Но дабы не сглазить, никому не говорила об этой своей уверенности, даже самой близкой, старшей сестре, у которой в сорок четвёртом воевали муж Данила и сын Виктор.

За полгода ни одной весточки от отца не было. Может, почта уже не ходила, а может, и не до писанины там, да и к письмам муж небольшой охотник.

...В декабре сорок первого в лютой мороз постучался в дом молодой парень, назвался Игнатом, шофёром из райпотребсоюза. Сказал, что привозил картофель в лагерь для военнопленных в Могилёве и встретил там Луку Романовича. Если бы тот не окликнул – никогда бы не узнал директора: чёрный, измождённый, видно, раненый, потому что плохо передвигается. Пока машину разгружали, тот записку написал: вот прочитайте и сделайте так, как он просит. Дрожащими руками мама взяла сложенный вдвое клочок оберточной бумаги, развернула: «Найди литра четыре самогонки, сала и ещё чего-нибудь, возьми у Якова паспорт, гражданскую одежду, валенки и поддёвку. Приезжай в Могилёв и с вокзала иди, куда укажет Игнат. В лагере спроси полицейского Охрименко, отдай ему половину самогонки и сала и скажи, что приехала за мной. Скорей, а то не дождусь...»

Немцы в деревню заглядывали от случая к случаю и довольствовались курами и яйцами, по схранам с запасами продуктов не лазили, а потому довольно быстро удалось собрать по соседям 3 кило сала, несколько колец деревенской колбасы и кусок палиндвицы. Самогонку как раз выгнал Яков, муж сестры Ганны. Она наполнила три резиновых грелки, заняв их у соседей. Потом нашла старый, но ещё крепкий самотканый мешок, нашла на него несколько фальшивых заплат и соорудила большой рюкзак, обвязав вложенные в углы небольшие картофелины куском брезентовых вожжей. На дно положила старую мужнину поддёвку, потом грелки с самогоном, валенки и штаны, потом сало и колбасу, потом, чтобы были под руками, две поллитровки с самогоном, завернув в старый треух. Накрыла всё связанным самой свитером и старым потёртым пиджаком, сверху же аккуратно разложила несколько килограммов сохранившейся в соломе на чердаке ароматной антоновки. Мешок завязала куском шпагата, обвязав узел вожжами. Как ни крути, а целый пуд придётся тащить на себе, – посетовал Яков, взвесив мешок. И отправился домой за лёгкими санками. Положил на них мешок и накрепко привязал бечёвкой, посоветовав с санями и в поезд садиться.

\* \* \*

...Вот сейчас мы и едем откапывать тот самый патефон, потому что приёмник отец откопал ещё в апреле сорок второго для партизан. Место нашли сразу – толстый проволочный штырь на полуметровой глубине уткнулся в дерево. Отец снял дёрн и начал раскапывать землю. То и дело кто-то подходил. Одни жали отцу руку, другие обнимали, женщины лили слёзы: ох, повезло Насте, а когда-то мой придёт?

Придёт ли? – так вопрос не стоял: придёт! Только вот когда? Работа поэтому продвигалась медленно, и я в ожидании момента нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Мама куда-то исчезла, зато вокруг собралась довольно уже большая группа. Наконец лопата звякнула по металлической ленте, которой был окован старый бабушкин сундук.

Яму вокруг него расширили с торцов, чтобы извлечь из земли. И вот отец с дядей Яковом торжественно водрузили клад на край ямы. Сбоку висел большой замок. Сундук оказался довольно громоздким, на ручной тележке не увезти: оказалось, что в нём ещё и вещи многих родственников.

– Вскрываю на месте, разберём, – предложил кто-то из них. Ключ, оказалось, мама оставила дома. Кто-то принёс небольшой ломик, и замок сорвали вместе с петлёй. Вынули несколько довольно больших пакетов, и вот наконец отец извлёк из сундука патефон, тщательно обернутый мешковиной и обшитый узорчатой клеёнкой. Потом достали так же бережно упакованные пластинки.

– Папа, заведи, – заныл я, – ну, поставь пластинку. а?

– Придём домой и поставим, – шикнула на меня появившаяся мама.

– А что? Сын же просит! – возразил отец, которому, похоже, и самому хотелось попробовать, заработает ли патефон. – Давай прямо тут, на сундуке, и заведём! В честь возвращения с войны!

К моему большому сожалению, пластинка за пластинкой оказывались отсыревшими, отец откладывал их в сторону одну за другой на просушку. Я уже потерял всякую надежду, когда одна оказалась сухой, потом ещё одна, ещё... Отец достал ручку, закреплённую под крышкой, завёл механизм, поставил пластинку, опустил головку звукоснимателя: «Рио-Рита»!

Подошла «дядина» – Настя, жена деда Андрея, мамино дядьки; часть их дома – напротив – уцелела.

– Лукаш, бярэ свою цацку, вяди людзей к нам! Чаго-чаго, а бутылка-другая самогона найдётся!

– Спасибо, – сказал отец. – Но мы со своей игрушкой поедem домой, а вас с бутылкой-другой ждём к шести часам, – а потом обратился к собравшимся: – Все приходите!

За большим столом по случаю возвращения партизана недосчитались двух его братьев – Алексея, отца Лёни, и Николая, только успевшего жениться, а также младшего, любимого брата мамы, тоже Алексея – Шинкевича. Сколько себя помню, мама не верила в его гибель. Часто заставлял её у его портрета, висевшего на стене. Она стояла и шептала: «Лёшенька, братик мой, ну вернись, вернись же домой...» Лёша не услышал. Мама говорила, что я очень похож на этого своего дядю. Рядом висел и портрет дяди Коли, совсем ещё молодого парня, полного надежд на будущее.

Позже выяснилось: что два Алексея погибли под Ленинградом. Сослуживец Алексея Сергеевича Шинкевича по фамилии Зубарик рассказал маме, что Алексей, который служил в отделении связи, вылез из окопа, чтобы связать разорванный телефонный кабель, и его разнесло прямым попаданием снаряда... Мама ему не поверила, перекрестила портрет, висевший в зале, и ждала брата или похоронки до самой своей смерти...

Похоронку получил совсем недавно уже я. Прислал её на мой электронный адрес Владимир Говорушкин из далёкого российского города Шелехова. Вышел он на меня по «Одноклассникам» в попытке узнать что-либо об истоках своей фамилии. Мы обменялись соображениями по этому поводу, придя к выводу, что мы оба из одного рода, а истоки фамилии нужно искать в Великом княжестве Литовском, в которое когда-то входила нынешняя Беларусь. В процессе переписки я осознал, что Владимир – куда более продвинутый человек в компьютерных технологиях и поисках в интернете. И попросил разыскать следы моих погибших родственников. Невероятно: шестьдесят восемь лет спустя после написания похоронки, которая так и не пришла в нашу деревню Остров, я смотрю на неё, и слёзы застилают глаза.

Красноармеец 1102 полка 327 дивизии Шинкевич Алексей Сергеевич был убит 30 января 1942 года на Волховском фронте в боях за деревню Спасская Полисть. И похоронен в лесу восточнее этой деревни.

Почему же не дошла похоронка? В ней была ошибочно указана деревня Остров Рогачёвского района, но Воронежской, а не Гомельской области. Видно, не было под руками точных данных, и писарь исходил из того, что 1102 полк формировался в Воронеже...

Я почитал о тех боях в воспоминаниях командира дивизии генерала Антюфеева. Холодный ад: болото, тридцатиградусные морозы... Неподготовленную и плохо экипированную дивизию бросили на хорошо укреплённую немцами деревню. Тысячи и тысячи погибших... И только пять пожилых солдат в похоронной команде полка. Какие там похороны!

Поисковики в восьмидесятых годах сотнями находили хорошо сохранившиеся во мху тела погибших солдат и опускали в братские могилы.

От двоюродной сестры Ани узнал, что Алексея Сергеевича Шинкевича освободили от фронта из-за плохого сердца. Но он вместе с другом, председателем сельсовета Зубариком, записался в добровольцы...

Брат отца, Алексей Романович, был тяжело ранен, тоже на Ленинградском фронте, его эвакуировали в тыл санитарным поездом. По пути умер от ран и похоронен в братской могиле в центре посёлка Хвойное Нижегородской области. Это тоже я узнал благодаря Владимиру Говорушкину.

Дядя Николай, младший брат отца, погиб в соседнем Жлобинском районе, когда московская диверсионная группа, в которую он вступил после серьёзного испытания, наткнулась на немецкую засаду. Похоронили в братской могиле деревни Радуша, но в сорок пятом отец перезахоронил его на родном кладбище в Поболово.

При освобождении Польши был ранен дядя Данила, муж нашей любимой тётки Варки. Умер в госпитале от ран на территории Польши. В тот же госпиталь несколько дней спустя попал его сын, мой двоюродный брат Виктор, призванный в армию в 1944 году. И случайно выяснил, в какой палате лежал и умер от заражения крови – врач проглядел – отец. Командование выделило автомобиль, госпиталь раскошелился на венок, и раненый сын возложил его на могилу отца. А потом война напрочь выбила из памяти название того польского городка, где в братской могиле покоится сержант Данила Политай. Много лет спустя после войны моя двоюродная сестра Аня через архив в Подольске выяснила, где она находится, и тоже побывала на могиле отца. До самой смерти переживала, сохранилось ли захоронение в связи с пересмотром отношения поляков к своей военной истории и советским воинам-освободителям.

Пластинки мы зря сушили на солнце – они как бы расплавились и покоробились, как сказала мама. Остались только три, Апрелевского завода. Я их и сейчас помню – «Рио-Рита» и аргентинское танго на другой стороне, «Мой костёр» и «Дружба» в исполнении Вадима Козина и две еврейские мелодии – «Фрейлехс».

Под «Мой костёр» все вторили Козину грустными, в тему, голосами а под «Фрейлехс» – танцевали, встав в круг или «шерочка с машерочкой», так как мужчин было всего трое – отец, дед Андрей и дядя Яков. Никто из них не танцевал. Деда Андрея Шинкевича на войну не взяли из-за преклонных лет – он воевал ещё в японскую и был награждён георгиевским крестом, дядю – из-за обострившейся застарелой язвы желудка. Мама всегда говорила: если б не Яков, оккупацию мы бы не пережили.

\* \* \*

В детстве я не раз спрашивал отца – убил ли он хотя бы одного немца? Мальчишками мы часто играли в войну, и меня почему-то чаще всего назначали «немцем», как я ни отнекивался. При первом же «выстреле» в меня я падал и притворялся убитым. Иногда такая быстрая смерть вражеского солдата не входила в планы «русских» и мне приказывали быть «легкораненым» и продолжать бой. Я отказывался и выходил из игры – одним «немцем» меньше. От отца, конечно же, хотелось услышать, что немца убил, и не одного. Но отвечал он, как говорят, уклончиво: стрелял, а вот попадал ли – не знаю. Много позже понял – не хотел, чтобы дети знали, что убивал людей, пусть и в бою.

Удивительное дело: за свою журналистскую карьеру я проинтервьюировал не один десяток участников и героев войны, но со стыдом должен признаться, что обстоятельного разговора на эту тему с отцом так и не получилось. Из-за него ли, из-за меня? Он действительно всячески откращивался от воспоминаний, а я не сумел переубедить, настоять на своём.

Разбирая документы, когда его не стало, я обнаружил конверт с надписью «Эдику». Раскрывал не без волнения: отец ушёл без меня, я решил, что оставил он мне последнее напутствие. При жизни он любил давать советы, которые, чего греха таить, порой раздражали. Но в конверте оказались краткие воспоминания, написанные корявыми буквами человека, перенёвшего инсульт и озаглавленные «Война». С трудом я продирался не только через почерк, но и через смысл: в ряде слов были пропущены буквы, а в некоторых предложениях и слова.

Стало ясно: отец в конце концов пожалел, что не рассказал нам о том, как перенёс суровые испытания войной, и решил исправить ошибку хотя бы таким образом...

...На грузовике их привезли в Рогачёвский райвоенкомат, где каждому мобилизованному под расписку вручили предписание, в какую часть явиться, и объяснили, что бывает за дезертирство в военное время. Отец должен был заступить на должность политрука Гомельского военного госпиталя, однако, как выяснилось на месте, госпиталь успели эвакуировать. Переночевав на вокзале, пошёл в облвоенкомат 23 июня, и его направили политруком 4-й дорожно-комендантской роты 80-го Дорожно-эксплуатационного полка 21-й армии. Срочно обмундировали в обычную солдатскую гимнастёрку с офицерскими петлицами. После двухнедельной боевой подготовки на плацу одной из воинских частей, вручили противогаз, пистолет, винтовку-трёхлинейку и «путёвку на тот свет» – целлулоидный пенальчик, в котором помещалась записка с фамилией, именем-отчеством, адресом и каким военкоматом призван. Его рота охраняла и обеспечивала движение на одном из участков шоссе Гомель – Минск и располагалась неподалёку от деревни Звонец. Недели две подразделение занималось рутинными делами по охране шоссе, проверке военных и гражданских, выходявших из окружения, чтобы в тыл не пробрались гитлеровские агенты. Отец знакомился с бойцами, как мог старался подбодрить сослуживцев. Из сводок было известно о жестоких боях под Могилёвом, о том, что немцы заняли Рогачёв и Жлобин, а потом были выбиты оттуда, что у них много танков, пушек и самолётов, которые уже бомбили и Гомель.

Отец догадывался, что немец уже в наших краях, и переживал за то, как мать с маленькими детьми устроилась в деревне Остров у родственников. «Тяжело было сознавать, что вы на расстоянии каких-то 80–90 километров, а связаться нельзя...»

В конце июля под Звонец передислоцировались остатки двух полков 21-й армии, разбитых под Рогачёвом и Жлобином. Когда от командования поступило устное указание лицам командного состава срезать с гимнастёрок петлицы и нарукавные знаки, стало понятно, что противник вот-вот ринется на Гомель, а потом на Смоленск и Москву... В случае пленения офицеру лучше сойти за солдата.

«Страха в общем-то не было, – писал отец, – скорее ощущение спокойной обречённости. Иногда казалось, будто всё это происходит не со мной. Но я почему-то знал, что не погибну...»

10 или 11 августа получили команду передислоцироваться на шоссе Гомель – Довск и заняли оборону в уже вырытых кем-то окопах примерно на середине этого участка, но ближе к Довску. В роте большинство тех, кого, подобно ему, мобилизовали из Гомельской и Могилёвской областей. Вооружение – трёхлинейки, немного гранат и бутылки с горючей смесью... Было очень душно, и, когда стали обстреливать из орудий и бомбить с самолётов, бойцы прятались на дне окопов и от осколков, и от зноя. Потом минут на двадцать наступило затишье, но эти минуты показались невероятно длинными: все чувствовали, что скоро гитлеровцы пойдут в наступление и здесь... Ранним утром 13 августа в расположение роты прибыли командир полка Андрианов с комиссаром. И как нарочно, вдали послышался треск мотоциклов, и с позиций наших стрелковых полков началась стрельба в сторону Быхова. «Мы тоже стали стрелять в ту сторону, хотя никого не видели... И вдруг стали свистеть пули с тыла, со стороны Гомеля. Андрианов предположил, что стреляют наши, и говорит: «Говорушко, иди или ползи за сосенник и разведай, кто стреляет. Если наши, скажи, что мы ещё здесь...»

Он, пригнувшись чуть ли не до земли, побежал, но позади вдруг ухнуло, и его – как бревном по поясице... Упал, как споткнувшись, правой рукой дотянулся до поясицы, а там – всё разорвано осколком, рука в крови... Кричит, зовёт на помощь и сам не верит, что докричится. Но подползла медсестра Мария Игнатович, стала перевязывать... И опять ухнуло...

«Говорят, снаряд в одну воронку два раза не падает, а вот Марию, когда она стояла на коленях надо мной, осколками ранило в обе ноги...»

Видно, медсестра разворошила рану, когда заталкивала туда тампон и перевязывала, потому что от боли он потерял сознания... Очнулся тоже от боли, которую причиняли толчки телеги по ухабам – везли в тыл... Ездовой родом из Кормянского района, скотником работал в колхозе.

Отвоевался, решил отец, в первом же бою ранило, да как! – чуть надвое не разорвало.

Спустя несколько минут к телеге подбежали двое немцев, третий сидел на мотоцикле метрах в двадцати. Стало ясно, кто стрелял со стороны Гомеля – рота попала в окружение. Один из немцев почти с уверенностью выкрикнул:

– Комиссар?

Видно, не сомневался – раз везут одного на телеге, значит, комиссар.

– Нет, политрук! – отвечает ездовой автоматически.

И вот тут-то показалось, это – конец, так как уже знал, что Гитлер в начале июля издал приказ: комиссаров и евреев расстреливать на месте.

Немец срывает с него пилотку... У отца с тридцати лет стали выпадать волосы, и он, как рассказывал, не хотел начёсывать их остатки с виска на лысину, а потому с тех пор и до конца жизни брил голову наголо.

– Зольдат! – кинул фриц напарнику, потом приказал развернуть лошадь и двигаться за мотоциклом.

Похоже, в начале войны немцы ещё не знали, что слова «политрук» и «комиссар» однозначны. Бритая голова окончательно развеяла его сомнения. Счастливое совпадение обстоятельств в тот день спасло отцу жизнь.

Телега остановилась у гумна на окраине села Новый Кривск, занятого немецкой частью. Лошадь немцы выпрягли и забрали, ночевал в той же телеге. А утром привели четырёх пленных красноармейцев и приказали уложить раненого на попону и доставить в расположенное за несколько километров село Петравичи. Его то несли, то тянули волоком по обочине дороги, по которой гнали колонны наших пленных. Случалось, колонну из пятисот и более человек охраняли только двое автоматчиков. Пленных сопровождали местные женщины и подростки, пытающиеся разглядеть в колоннах близких. Они передавали солдатам буханки и куски хлеба, давали попить из вёдер и бутылок.

Конечно же, размышляет отец, проще всего было его пристрелить; почему тогда немцы этого не сделали, он так и не понял до конца жизни. Может, потому, что поначалу играли в гуманность? Тогда почему никто ни разу не осмотрел раненых, не сделал перевязки?

В Петравичах он провёл два или три дня. Немцы делали попытку рассортировать пленных: тех, кто мог самостоятельно передвигаться, выстраивали в колонны и отправляли в Бобруйский лагерь военнопленных. Раненых грузили на машины и увозили в направлении Могилёва. Спустя пять дней отец оказался в Могилёвском лагере военнопленных – там его впервые за пять дней осмотрел пленный военфельдшер. Промыл рану бензином, перевязал бинтами, нарезанными из солдатских маек.

– Тебе надо стараться скорее встать на ноги, иначе не выживешь, – посоветовал он. – Учись ходить через боль, рана хотя глубокая и болезненная, кость раздроблена, но нервы не задеты... В общем, встань и живи!

Уверен, отец стал учиться ходить тотчас же, – всегда отличался невероятным упорством. Помню, после первого инсульта, случившегося в 66 лет, он за два года сам себя поставил на ноги, начав с еле заметного шевеления большим пальцем на левой ноге.

\* \* \*

У мамы был выбор: ехать до Могилёва с Красного Берега, но с пересадками, или с Рогачёва напрямую? До Красного Берега ближе, всего семь километров, до Рогачёва – все двадцать. Она выбрала Рогачёв: пусть идти дальше, но в поезд надо умудриться сесть лишь раз. Яков её поддержал и посоветовал выйти из дома не позже пяти утра. Её смущали лишь два километра дороги через лес: она боялась волков. Яков засмеялся: в это лихое время, скорее, надо опасаться двуногих волков, но вызвался проводить до Зелёного Дуба, деревни сразу за лесом.

Утром кусок в горло не лез. Стала одеваться потеплее, укутала голову и лицо суконным платком так, чтобы оставить открытыми только глаза и нос. Аусвайс Якова положила в левый внутренний карман телогрейки, свой – в правый, вместе с деньгами. А Якова всё не было. Посмотрела на часы – полпятого: как всегда перед дорогой, проснулась слишком рано. Ещё раз попробовала позавтракать краюхой хлеба с творогом. И тут в дверь постучали. Детей ещё вчера отправила ночевать к старшей сестре, за них она не беспокоилась: для неё самой и для сестёр все их дети были свои, родные.

Яков пришёл в тулупе, из правого кармана которого торчала ручка топора. Она еле уговорила его засунуть топор под верёвку на саночках, чтобы было легче идти, но он настоял на том, чтобы самому тянуть санки. Мороз стоял под двадцать градусов, санки бежали за ней легко, и она в конце концов отдала верёвку Якову.

Деревня спала, снег под ногами скрипел так, что, казалось, перебудится вся деревня. Может, поэтому разговаривали полущёпотом. Он спросил, что скажет полицаям или служащему станции, если спросят, куда направляется. И она рассказала придуманную вчера легенду. «Под Могилёвом у двоюродной сестры два дня назад памёр муж, год болел, все гроши пошли на лекарства. Фрося осталась одна с тремя детьми, ни похоронить, ни поминки справить. Вот собрала усяго таго, что было, и выбралась в дорогу...»

Рассказывала с удовольствием, потому как история была что надо. Не на свадьбу едет, на похороны, а люди, какими бы они не были, горю не смогут не посочувствовать, хотя бы из приличия. А уж если совсем сволочь попадётся, отдаст бутылку самогонки и килограмм яблок, и больше ничего. Хоть стреляйте...

Яков промолчал, значит, одобрил. Ему вообще слово сказать – как родить...

Через лес шли молча, прислушиваясь к каждому шороху. Топор Яков держал под мышкой.

За лесом распрощались:

– Гляди сама, – сказал Яков. Это означало и «счастливого пути» и «удачи» одновременно.

Она знала, что всё так или иначе сложится. И на станции в Рогачёве, и там, в лагере, поэтому не думала – как. Просто шла, и это было её делом в данный момент. А думала о Якове, о том, как повезло с мужем её средней сестре Ганне, женщине с тяжёлым, угрюмым характером, малоулыбчивой, словно постоянно ожидающей какой-нибудь пакости от жизни. Если и доброй, то доброту эту не разглядеть, не разгрести из-под слоя непонятно откуда накопившихся обид. А Яков – добрейший хлопец, готовый с каждым поделиться последней рубашкой, помочь в любую минуту. И доброта эта так и лезет из его серых глаз на бледном лице, на которые то и дело падает прядь рыжих волос. Вот только мучает бедного тяжелейшая язва желудка. Не от того ли, что все Ганнины придирки и злые, несправедливые упреки переносит безропотно и молча?

Якова любили деревенские бабы. И ходили слухи, что одной-таки удалось его пригреть. Может, от этого и бесится Ганна?

У Заболотья начало виднеть. И тут она услышала скрип полозьев сзади и пофыркивание коня, и скоро с ней поравнялась его заиндевшая морда. Сани обогнали, и она увидела спины

двух мужчин в добротных кожаных. Один из них оглянулся и, видно, разглядел-таки молодые глаза, сверкнувшие из-под закрытого платком лба. «Тпру, тпру...» – прозвучало с саней, и поводья натянулись. Судя по сытым самодовольным рожам – полицаи.

– Откуда ты и далёка собралась, молодница?

– Ой, хлопчики, не спрашивайте. Из Острова и – далёка, до самого Могилёва.

– Пёхам до Магилёва нацелилась? Садись, да Забалотья доведём.

Она села в сани, а свои решила тянуть за верёвку. Один из полицаев слез и взгромоздил её поклажу: так, мол, надёжней.

– Так что ж ты згубила в Могилёве? – спросил потом, усаживаясь рядом.

Рассказывая свою легенду, она так вошла в роль, что всплакнула.

– Можя, и самагоначки вязёшь?

– Вязу, хлопчики, вязу, а як-жаж? И пахать чалавека треба, и паминки справить по-людски!

– Считаю, павезло тебе, маладица. Мы-то в Рогачёв едим, да дружок мой к зазнобе на часок в Заболотье решил заскочить. Отжалеешь поллитровку, подождёшь часок, доведём и на поезд в Рогачёве посадим. У меня там дядька на станции працуе...

Она соображала – довериться хлопцам или нет. Ясно одно: в Заболотье она ждать их не станет – начнут с мороза в хату зазывать, а там выпьют, и неизвестно, как обернётся. А вот поллитровку придётся дать.

– Поллитровку, хлопцы, я вам отжалю, куда от вас денешься, – сказала, развязывая мешок. – А ждать не буду, пойду потихоньку да Рогачёва. Обернётесь за час, не раздумаете памагты чалавеку в бяде, догоните. А не догоните, на станции вас подожду...

Они догнали её перед самым мостом через Друть. И тут ей повезло, не пришлось часовым рассказывать, куда идёт и зачем. Полицаи показали свои удостоверения, она своё, и они проехали. Повезло и на станции. Через час отправлялся поезд, к которому были прицеплены три порожних теплушки до Могилёва.

– Садись и спокойно едь. Выйдешь, когда вагоны начнут отцеплять. Из Могилёва они поедут в Германию с военнопленными, – сказал ей пожилой мужчина в форме железнодорожника, которому Фёдор – так звали одного из полицаев – объяснил, кто она, куда и зачем едет. Она расчувствовалась и хотела отдать ему вторую поллитровку, но тот отказался. Взял лишь несколько яблок...

В Могилёве, где с трудом удалось открыть дверь теплушки изнутри, она вышла через четыре часа. В зале ожидания жарко топилась печка и сидели несколько женщин, одетых по-деревенски, как и она сама. По разговору поняла – и они приехали искать мужей и родственников среди военнопленных, поверив слухам, будто немцы отпускают местных из лагерей, если за ними придет кто-то из близких. Судя по всему, ничего у них не вышло. Отогревшись, пошла искать лагерь в сторону деревни, название которой напрочь забыла.

\* \* \*

Я много времени посвятил тому, чтобы найти место в Могилёве, где располагался тот самый лагерь для военнопленных. К сожалению, мама не помнила название населённого пункта, хотя я, открыв подробную карту района, перечислил ей почти десяток. Не было точных ориентиров и в воспоминаниях отца: «лагерь для военнопленных в Могилёве» – и всё. А в этом городе и вокруг него, судя по материалам в интернете, был чуть ли не десяток лагерей – дулагов и шталагов (постоянных и пересыльных), откуда военнопленных отправляли в лагерь Польши, Германии и других завоёванных гитлеровцами стран. Известно, однако, что отец провёл в лагере почти три месяца, значит, скорее всего, это был шталаг, постоянный. Не знаю, был ли отец зарегистрирован в лагере: в зоне Могилёва, Бобруйска, Рогачёва, Жлобина и Гомеля

немцы неожиданно для себя взяли большое количество пленных – около трёхсот тысяч, – и в первый год войны было не до регистрации. Но и в этом случае, судя по поисковым сайтам, просто невозможно найти соответствующий список, не зная точного номера лагеря и его расположения. В воспоминаниях отца упоминается станция Дашковка, с которой они доехали до Рогачёва. Никаких данных о том, что лагерь был в окрестностях этой станции нет. Может быть, они просто посчитали, что в маленькой Дашковке бывшему военнопленному безопаснее сесть на поезд, чем в кишашем немцами Могилёве. А 10-20 километров пешком для того времени – не расстояние...

\* \* \*

Мама подошла к лагерю и увидела три ряда колючей проволоки, окружавшей огромную территорию, почти примыкавшую к Днепру. Через каждые 30–50 метров стояли будки с немецкими охранниками, вооружёнными «шмайссерами», по углам вышки с пулемётами.

За проволокой – может, двадцать, может, тридцать огромных дощатых бараков, но люди, как муравьи, почему-то копошились снаружи – сновали туда-сюда, потирая руки от холода и хлопая себя по бокам. Некоторые стояли в длинных очередях у котлов: как она поняла, было время обеда. Каждый получал свой черпак и скрывался в бараке. Она недоумевала: почему суп, или что они там ещё ели, надо было раздавать на морозе, а не в специальном столовом бараке? Отец ей позже объяснил, что немцы в первое время не знали, что делать с пленными, чем их кормить, как и где содержать, поэтому были заинтересованы в «естественной» смертности, вот и держали на холоде по три часа. Несмотря на мороз, от лагеря исходило тошнотворное зловоние, – отхожие места были практически открытыми. «Какая же вонь здесь стояла в августовскую жару», – подумала она. Долго ждала, пока из ворот лагеря, где ряды проволоки смыкались и были перекрыты шлагбаумом с немецкими охранниками, не выйдет русский полицаи. Минут через двадцать к воротам подъехал грузовик, из которого первым делом выпрыгнули два молодых полицаи с палками, а из кабины вышел немец с автоматом.

Шофёром был русский, из военнопленных. Полицаи стали по бокам и следили, как из грузовика один за другим выпрыгивали военнопленные. Все ещё в теле, некоторые выбриты, большинство в телогрейках и поддёвках, некоторые в сапогах, но большинство в солдатских ботинках с обмотками. Построились в два ряда и в сопровождении немца пошли к воротам. Полицаи закурили, было видно, что собираются за следующей партией. Она набралась смелости и обратилась к ним:

– Пана полицаи, хлопчики, – обратилась она к ним, – ты не можете вызвать пана Охрименко? У меня к нему дело, сами видите.

Полицаи понимающе переглянулись:

– Если хорошее дело, позову! – она молча переминалась с ноги на ногу. – Так хорошее?

– Хорошее, хорошее!

Один из полицаев направился к воротам, второй с интересом оглядел её, а потом участливо спросил:

– Что, мужик тут у нас?

Она молчала, не зная, может сказать ему или нет. Потом, осознав, что с ним лучше найти общий язык, решила на полуправду:

– Нет, не муж, брат родной!

Полицай, почувствовал её колебания успокоил:

– Ну, раз Охрименко знаешь, всё сладится.

Из ворот вышел немец с грузовика, сел в кабину, а следом за ним и её поручитель.

– Отойди метров на пятьдесят, не маячь перед немцами, – оглянулся по сторонам. – Хотя бы к той берёзе, и жди!

Она отошла к берёзе, вынула из вещмешка заранее припасённую белую наволочку, переложила в неё две грелки с самогоном, два куска сала и виток колбасы, пару килограммов антоновки, и стала ждать. Охрименко оказался кругломордым рыжим мужиком её возраста с просмолёнными от курева усами, белёсыми бровями и ресницами. Уже по первому вопросу поняла, что она у него не первая клиентка:

– Кого хочешь забрать?

– Лукаша Говорушку.

– Знаю, знаю камуниста твоего, упартый, жить хочет...

– Что ты, какой он коммунист?

– Не пужайся. Проговарился, что директором был в школе. А кто на такую должность беспартийного поставит? Всё привезла?

– Вот! – она подала ему наволочку. – Тут пять литров первача в грелках, сало. Колбаса, яблоки. Может, грошай дать?

– Да не про это я, – но клунок взял. – Паспорт, гражданская одежда? – она кивнула.

– Молодец, что санки прихватила – ещё плохо ходит. Гроши оставь себе, на дорогу.

Она поблагодарила и спросила, где ей дожидаться мужа.

– Ты вот что, переночуй у кого-нибудь в деревне, до станции уже не ходи – находилась уже. Завтра, как солнце поднимется, будь в том лесу, – он показал рукой туда, откуда она пришла. Я их завтра выведу вроде бы за дровами, человек тридцать. Он будет последним, отстанет у леса. Переодень – и на станцию... Если что – скажете, были, мол, в деревне на похоронах, сейчас к себе добираетесь. Сама-то откуда?

Она ещё удивилась, что он знает её придумку: «Не одна я такая умная».

– Из Рогачёвского района.

– А я – из Черниговщины. Помолитесь там за Опанаса Охрименко.

Как ни странно, ни тени сомнения не было в том, что полицай Охрименко сделает как сказал. Хотя, конечно, Ганна отругает за доверчивость: сало, мол, с самогоном получил и – ку-ку!

Смеркалось, когда постучалась в первую же хату на краю деревни. Её впустили, услышав женский голос. Хозяйка, старуха лет шестидесяти с бельмом на правом глазу, накрывая на стол, промолвила: не ты первая, не ты последняя, которая пришла здесь мужа искать. Как маме ни хотелось поделиться уговором с полицаем, но выдержала, сказав, что только завтра пойдёт к лагерю. У старухи тоже мужа и сына забрали на фронте, тоже, может быть, где-то рядом в лагере, а она ничего не знает. Прасимья, Прося – так звали хозяйку – поставила на стол горшок с отварной картошкой и миску с солёными огурцами, извинившись – ни кур, ни яиц в доме нет, всё германец очистил. Гостья вынула из сумки сало, порезала, пожарила в маленькой сковородке на плите, а потом выставила на стол ещё и бутылку самогонки.

– Самогон оставь, дорога дальняя, ещё пригодится! – но, оглядев бутылку, передумала. – Она у тебя полная, до горлышка, давай по полчарочки выпьем за то, чтобы и эту неметчину пережить!

Пожелав ей удачи в лагере, Прося предложила:

– Если повезёт тебе, приводи мужика сюда. Переоденешь в тепле, воды нагреем, помоешь.

До леса не дошла, добежала. Солнце только поднималось. Села за деревом на саночки и стала ждать. Несколько раз вставала, кружила вокруг сосны, чтобы не замёрзнуть. Не сводя глаз с дороги, развязала верёвку и взяла на плечи рюкзак... Аж в жар бросило, когда разглядела группу медленно бредущих к лесу со стороны лагеря людей. Уже потом разглядела: последний шёл медленно, тяжело хромая на правую ногу и оглядываясь по сторонам. Догадалась: он. Прислонился к первой же сосне, а потом сел, медленно сползая по стволу. Идущие впереди стали оглядываться:

– Быстрее, быстрее вперёд, пусть подышает, если идти не может! – закричал Охрименко незлым охрипшим голосом, и военнопленные прибавили шаг.

Не могла дожидаться, пока они скроются за поворотом, – задыхаясь, подбежала. Увидев жену, отец хотел встать, она ему помогла, усадила на санки. Потом призналась мне, что встретив такого в лесу, не узнала бы и испугалась: не лицо, а череп с остро торчащим носом, обтянутый жёлтой кожей, поросшей седыми патлами, свисающими и с висков, и с затылка. Только глаза в провалившихся глазницах были его, но их ещё надо было разглядеть. Ей показалось, что он и в самом деле похож на Якова, который в период обострения язвы превращался в скелет.

– Что, испугалась? – спросил он слабым голосом, почти шёпотом. – Не бойся, мясо на костях нарастёт...

– Нарастёт, куда денется. Давай садись на санки, отъедем в лес, переоденешься.

Им и в голову не пришло обняться, поцеловаться. Было ощущение, что всё впереди, вот только бы побыстрее отсюда удрать.

Когда муж с горем пополам, отказавшись от помощи, сел на санки, ей показалось, что рюкзак до расчёта с Охрименко было везти тяжелее, чем его. Наст был твёрдым как лёд, и они, быстро съехав с дороги, петляли по лесу, пока не нашли небольшую освещённую солнцем поляну.

– Давай, доставай одежду. Исподнее взяла? – она кивнула головой, а потом предложила:

– В деревне старуха, у которой я переночевала, звала к себе переодеться в тепле.

– Нет, никуда не пойдём. Ещё кто увидит, донесёт... Лучше сдохнуть, чем туда вернуться!

Он быстро разделся догола; она поразилась, как держалась душа в этом чёрном скелете. На поясице – грязная повязка, резко контрастировавшая с белым исподним. В нерешительности остановился:

– Не могу одевать чистое на грязное тело.

– Давай, давай побыстрее, надо спешить на станцию...

Он вдруг натянул на босую ногу ботинок, разбил наст, набрал из-под него мягкого белого снега и стал умываться, бросив ей, как в бане:

– Потри спину! Смотри только, чтоб под повязку не натекло, рана ещё не зажила.

Снег быстро таял в её горячих руках, а зимнее солнышко вроде бы даже потеплело, обоих согрело и как бы развеселило. После этой зимней бани растёрла мужа ещё и самогонкой, а потом домотканым полотенцем, которое тоже предусмотрительно захватила с собой, помогла одеться:

– Поесть взяла?

– Только яблоки, – ответила она, утаив и сало, и колбасу, и буханку чёрного хлеба, испечённую перед дорогой. Знала, что такая еда для него сейчас опасна.

Судовольствием съев две больших антоновки, вызвался идти сам. Она обняла его, прижалась к груди:

– Нет уж, садись на санки!

– Тогда давай так: сначала ты меня везёшь, а потом я... пустые санки, – пошутил он.

– Договорились, – улыбнулась она. – Раз такой наст – пойдём напрямки, я знаю как.

Он и в самом деле несколько раз тянул пустые санки. На станции Дашковка она усадила его в пустом зале ожидания и тут с огорчением увидела, что за окошком с надписью «Касса» никого нет. Это означало, что поезда в ближайшие пять-шесть часов не предвидится. Сняв с головы платок и опрокинув на плечи тяжёлый ворох густых каштановых волос, пошла искать кабинет начальника вокзала. Должен же быть здесь хоть кто-нибудь?

Начальник оказался на месте – довольно грузный уже лысеющий мужчина, судя по всему, из белорусов. Найдя в себе силы на кокетливую улыбку, поздоровалась и тут же спросила:

– Не скучно здесь одному?

– А ты повеселить меня пришла или куда едешь?

– Куды еду, да, видно, загостюемся тут у вас – касса же закрыта.

Слова за слово, и она в конце концов доверилась ему и рассказала всё как есть: только что выручила мужа из лагеря военнопленных, и им надо скорее домой, в Рогачёвский район.

– Повезло тебе, красавица, на доброго человека, и твоему мужу, соответственно. Но больше про лагерь никому не рассказывай, – были, мол, в гостях, и всё. Думаешь, чего я тут сижу? Через час здесь остановится спецпоезд на Гомель – здесь отцепят две пустых теплушки. Я вас посажу в вагон с солдатами, так и быть. Идём, покажи мне его.

Взглянув на отца, начальник станции позвонил домой и велел своему двенадцатилетнему сыну принести ножницы, помазок и бритву. В кабинете она срезала тупыми ножницами бороду, остригла щёки, волосы на висках и затылке. Отец, взбив пену с кусочка мыла в пепельнице, побрился, а затем, под удивлённым взглядом начальника, привычными движениями побрил голову. Отчего она ещё больше стала напоминать череп.

– Ну вот, теперь к вам ни один полицай не прицепится. Ясно – из гостей...

Он вошёл с ними в вагон, заполненный молодыми немецкими солдатами, санки прислонил к стенке тамбура. Немцы начальство уважали, указали два свободных места. Начальник станции посадил их у туалета, который, как потом выяснилось не работал.

В вагоне было так жарко и душно, что трудно дышать. Они разделись, но это не помогло. Отец покраснел и стал задыхаться, тогда немец, сидевший напротив, подал ему фляжку с водой, а затем с трудом опустил окно. В вагон хлынул свежий зимний воздух.

Больше на них никто не обращал внимания – их спутники играли в карты, пели песни, читали. Отец попросил яблок, она не дала, побоялась, что потянет в туалет. На пути до Рогачёва поезд сделал только две остановки, – одну, как она поняла, санитарную, среди поля. Сама терпела, а отцу помогла вылезти из вагона...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.